

САША ФИЛИПЕНКО

К
Р
Е
М
У
Л
Я
Т
О
Р



Саша А. Филипенко
Кремулятор
Серия «Самое время!»

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67806672
Саша Филипенко. Кремулятор: Время; Москва; 2022
ISBN 978-5-9691-2263-5

Аннотация

От этого текста пышет печным жаром и тянет могильным холодом – причем одновременно. В основе романа материалы следственного дела Петра Ильича Нестеренко, директора Московского крематория на территории Донского некрополя. Работая над романом, Саша Филипенко повторил путь главного героя, вслед за ним побывав в Саратове и Париже, в Стамбуле и Варшаве. Огромный объем архивных документов предоставило автору общество «Мемориал». «Кремулятор» – художественная реконструкция совершенно удивительной судьбы.

Содержание

Часть первая	5
Следствие	5
Допрос первый #	15
Допрос второй #	52
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Саша Филипенко

Кремулятор

© Филипенко А. А., 2022

© «Время», 2022

18+

Часть первая

Следствие

Обыск и арест проводят 23 июня 1941 года. На всё про всё уходит шесть часов. Работа привычная, однако атмосфера нервная – всего день как объявлена война. Пока Брестская крепость сдерживает невообразимое давление фашистской машины, столицу Советского Союза накрывает волна незаметных изъятий. В квартирах и в парках, в институтах и в наркоматах вяжут потенциальных шпионов. Несмотря на размах мероприятия, задержаний не так уж и много – арестовывают всего 1077 человек, в которых бдительные советские органы видят предателей и троцкистов, бактериологических диверсантов и прочих (для заключения под стражу существует и такая графа). Цифра столь незначительна, потому что с большинством линейников разобрались еще в 37-м, когда только по подозрению в работе на Польшу к расстрелу были приговорены более ста тысяч человек (если быть точным – 111 091 гражданин). Действительный штат польской разведки не насчитывает и двухсот агентов по всему миру, но что уж тут поделаешь, ты же знаешь, милая, наши старательные органы уничтожают впрок и наверняка.

«Лучше перебздеть, чем недобздеть», – переворачивая

мою библиотеку, замечает один из чекистов. От грубости этой крохотную квартирку начинает выворачивать вещами, и меня выводят на улицу.

В пользу следствия они изымают восстановленный военный билет, записные книжки (шесть штук) и разного рода письма (в количестве 30). Кроме этого, проводящих обыск товарищей Козлова и Лягина интересуют адреса и телефоны (на 76 листах), личная переписка (почти 200 страниц) и три книги: о магии, о штундистах и о карма-йоге.

Вечером того же дня меня доставляют во внутреннюю тюрьму НКГБ, где фотографируют, опрашивают для анкеты и отбирают взятые с собою вещи:

одеяло серое байковое – 1 шт.;

простыни х/б – 2 шт.;

полотенце – 2 шт.;

наволочки – 2 шт.;

платки носовые – 6 шт.;

рубашки разные – 2 шт.;

трусы х/б – 1 шт.;

носки разные – 2 пары;

щетку зубную — 1 шт.;

мыло простое – 1 кусок;

салфетку – 1 шт.

Всё это собрано мною впопыхах, всё это, конечно, более ни к чему.

Оставшись в камере, я не скулю, не плачу и не быюсь го-

ловой о стену. «Произошла ошибка!» – о нет, подобных глупостей, взывая к надзирателям, я не кричу. Бессмысленные и пошлые проявления человеческих эмоций меня не занимают, а потому, сев на холодный пол, я без особенного интереса разглядываю клюв высиживающей меня наседки:

– Расстреляют тебя? – совершенно бестактно спрашивает он.

– Нет.

– Почему?

– Потому что шесть французских платков отобраны, но одну советскую простынь они все-таки выдают...

«Смерть есть мое первое детское воспоминание», – однажды, задолго до ареста, в одном из изъятых теперь дневников запишу я.

Каждый день, куда бы мы ни шли вместе с мамой, путь наш непременно пролегает через сельское кладбище. Иногда мама останавливается возле какого-то креста, чаще, ускоряя шаг, проходит мимо. Неизменно одно – даже если нам нужно месить грязь в совершенно другом направлении, каждый день мы оказываемся здесь – петля.

Научившись складывать буквы в слова, я поражаюсь однажды, что на кресте выведены мои имя и фамилия.

– Мама, это для меня? Сюда меня положат, когда я вырасту?

– Нет, глупенький! Здесь похоронен твой родственник! Тебя назвали в честь него...

Каждый день мы проходим мимо могилы с моим именем, и я обещаю себе, что никогда не умру...

«И вытри кровь, пожалуйста...» — с любовью говорит мне мама. Как ты помнишь, с самого детства у меня плохие сосуды.

Первый московский допрос проходит стремительно и коротко. Следователь поздравляет меня с наступающим пятидесятым пятым днем рождения и заявляет, что перед ним шпион. На какую именно разведку я работаю, он не уточняет, однако, раскрыв юную, хрупкую еще совсем папку-абитуриентку, не поднимая глаз, для чего-то наигранно щелкает языком и добавляет только, что Нестеренко Петру Ильичу светит 58-я статья.

— И? — спокойно спрашиваю я.

— У-во-ди-те! — вдруг чеканит он.

Фальстарт. Попробуем заново.

В течение четырех месяцев это бессмысленное представление то и дело повторяется. Словно в гимназии, следователь усаживает меня на стул, строго отчитывает и задает совершенно бестолковые вопросы: «Кто? Зачем? Почему?» Затем он для чего-то пробует меня напугать, однако, не имея времени на полноценные пытки (таких, как я, у него полна горница), всякий раз делает это довольно поверхностно и штатно. Убедившись, что я не собираюсь свидетельствовать против себя, дознаватель вновь и вновь тяжело вздыхает и приказывает меня вывести.

Глупо, но мы буксуем.

Следователь злится – мяч на моей стороне. Как бы странно это ни звучало, но летом и осенью 41 года я имею некоторый перевес. Время теперь работает на меня. 37-й, по которому так тотальгирует мой дознаватель, прошел. Обновленное квазиправосудие требует от него пускай и формальных, однако допросов, возможно и выбитых, но все же свидетельств (валяй и лже). Увы и ах, но просто так меня теперь не расстрелять. В границах осажденной Москвы следователю положено потрудиться, как и в любом другом советском дельце, выполнить хотя и совершенно бессмысленную, однако норму. Этому бесполезному человеку необходимо хоть что-то на меня накопать, а контекст между тем препятствует – немцы стоят уже у Москвы. Гитлер приказывает выслать своим солдатам парадную форму, и, пока одни жители столицы учат первые немецкие словосочетания: «Guten Tag!», «Wie ist Ihre Stimmung?» и «Heil Hitler!», – другие набивают помойки портретами всесильных Ленина и Сталина. От наскоро сжигаемых документов чернеет земля, и самый частый звук теперь хруст – не снега, но разрываемых партийных билетов. В этой ситуации моему дорогому следователю можно только посочувствовать – выбивать необходимые признания в столь неудобных обстоятельствах – сложно.

– Ты чего такой радостный, а? Ты что, не понимаешь, что скоро начнется отступление, и чекисты всех нас перестреляют?! – то наступая, то отпрыгивая назад, истерично дергает-

ся и кричит мой трусливый шакал-сокамерник.

– Не расстреляют...

– Почему ты в этом так уверен?!

– Потому что в случае взятия Москвы немцы используют наши трупы в пропагандистских целях – в начале войны подобные ошибки допускать нельзя...

– Уверен?

Да, потому что точно так же они сделают, например, во Львове. Войдя в город, фашисты обнаружат заваленную трупами тюрьму и, вместо того чтобы скрыть ужас от глаз людских, пригласят родственников. «Смотрите, – скажут новые хозяева города, – вот что, отступая, натворили красные с вашими отцами, братьями и сыновьями. Выбирайте, на чьей стороне вы теперь хотите воевать...»

Всё это очень понятно. В мирное время одни правила игры, в военное – другие. Главное – вовремя перестроиться и не унывать. Хаос хаосом, но, в общем-то, некоторые события несложно предугадывать. Война алогична, а это уже кое-что, чтобы начать ее понимать.

Ровно поэтому, когда сентябрьской ночью меня вдруг выводят из сырой камеры, я не прикусываю губу и не приглаживаю редкие, ставшие слабыми за последние годы волосы. На прощанье я не вспоминаю ни огни Босфора (хотя мог бы), ни твой острый подбородок, милая. Я понимаю, что меня ведут не к палачу, и в который раз в жизни оказываюсь прав...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о принятии дела к своему производству
Гор. Саратов, 1941 года сентября «17» дня.

Я, ст. следователь Следственной группы 2-го
Управления НКВД СССР лейтенант Госбезопасности
Перепелица, рассмотрев материалы следственного дела
№ 2716 по обвинению Нестеренко Петра Ильича –
НАШЕЛ:

Нестеренко П. И. арестован в Москве 23/VI
1941 года по обвинению в шпионской деятельности и
этапирован в гор. Саратов.

Учитывая, что по делу необходимо вести дальнейшее
следствие, руководствуясь ст. ст. 110 и 96 УПК
СССР, —

ПОСТАНОВИЛ:

Следственное дело за № 2716 по обвинению
Нестеренко Петра Ильича для дальнейшего следствия
принять к своему производству.

Ст. следователь След. группы 2-го Управления НКВД СССР
лейтенант Госбезопасности

Перепелица

Как ты уже поняла, милая, подозрительный по шпионажу,
две недели я трясусь вагонзаком в Саратов. Конвоиры пьян-
ствуют, собачатся на самые антисоветские темы и роются в
моих вещах – суки подлые, – еды почти не дают.

Разглядывая диезы решеток, за неимением прочих забот

долгими остановками я размышляю о собственной судьбе:

«Верно ли прожита твоя жизнь, старик, если, истоптав пятьдесят пять лет, ты вдруг оказываешься в чреве казенной гусеницы, что через всю страну, то сжимаясь, то дергаясь вперед, тащит тебя к месту нового допроса? Правильно ли отыграна твоя пьеса, соколик, коли в столь приличном возрасте ты путешествуешь поездом, в котором шипит не шампанское, а подышающий человек?..»

Вопросы эти, конечно, в пустоту. В действительности они необходимы мне только для того, чтобы не думать о тебе и чем-нибудь себя занять. Ехать две недели в Саратов – тяжело, ехать так утомительно и скучно.

– Чё, не очень-то они пекутся о нас, да? – выглядывая из-за чьего-то плеча, спрашивает вдруг анекдотист с полным выпавших клавиш ртом.

– Это путешествие, мой дорогой друг, мало чем отличается от времен гражданской войны...

– Так ты из белых, что ли, будешь?

– Из серых...

– Это как?

– А долго объяснять, уважаемый...

– Так ведь вроде есть у нас время на длинные беседы...

– Вот и давайте его промолчим...

Саратовская тюрьма, которую за форму ее называют «Титаником», оказывается укоренившимся в земле продолжением этапа. Острог как острог. Утром баландер приносит

теплую водичку с солью, на обед подают болтушку с рыбьей головой. Вечером похлебка из зеленых помидоров и раз в месяц, если повезет, сахар, который насыпают прямо в руки. В такие моменты, разглядывая ладони, я представляю высохшую степь, которую укрывает снег.

Из хлеба я мастерю шахматы, однако каждые три дня приходится мучачок, который фигурки мои тащит да съедает. Одним из сокамерников оказывается академик Вавилов, и я все время думаю на него – за большим именем прятаться легко. Вавилов целыми днями ходит туда-сюда и для чего-то бубнит, что в аресте его виновен Лысенко (будто теперь это может на что-то повлиять). Иногда великий советский ученый останавливается и в моменты такие начинает заниматься просветительской деятельностью, словно кто-то его об этом просит:

– Если же попытаться осмыслить наше время, – заводит-ся он, – станет очевидно, товарищи, что мы просто-напросто не успеваем облагораживать народные массы! Ровно так, как мы не можем окультурить все поля, не получается у нас пока (!) и вывести нового человека. Несмотря на все сложности и препятствия, людей рождается всё больше, а количество образованных граждан остается на прежнем уровне. Как результат, у нас увеличивается пропасть между образованными и необразованными людьми. Если так пойдет и дальше, однажды мы заметим, что сорняк – наша главная и единственная культура!

– Ничего, война перепашет! – раздается с верхних нар.

Я слушаю и улыбаюсь. Ты же знаешь, милая, жонглирование метафорами меня никогда не раздражало. Понятно, что каждый спасается как может. Этого сдавшегося бедолагу мне даже немного жаль. Маловероятно, что он выберется отсюда. Академик наверняка умрет здесь голодной смертью, и единственное, на что ему теперь стоит рассчитывать, – соседнюю улицу, которую много лет спустя, признав ошибки партии, зачем-то назовут в его честь.

«Будет настроение, – думаю я, – обязательно расскажу тебе, мил человек, чем в действительности удобряют эту землю».

Пока же, закрыв уши руками после французского и турецкого, после польского и болгарского, в мыслях поцеловав тебя, я берусь за изучение нового языка:

Айк – икона

Балабас – сахар

Вара – контрабанда

Гамза – деньги

Декча – голова

Енгин – опасность

Журня – морг

Запомнив самые необходимые в новой жизни слова, я закрываю глаза и готовлюсь заснуть, однако сделать этого не успеваю – меня вызывают на первый саратовский допрос.

Допрос первый

Войдя в сумеречную камеру, я хрюкаю и улыбаюсь. Да-да, так и происходит, поверь мне! Сдержаться сложно, смешок вырывается сам собой. Следователю моему нет и тридцати. Лицо чистое, румяное, пионерское. Перепелица Павел Андреевич – будем знакомы!

Едва взглянув на него, я понимаю, что щеки молодца наливают свежая чекистская кровь. Новый кадр. Очевидно, паренек пришел в органы после последней волны чисток. Орленок в чужом гнезде. Персонаж, судя по всему, старательный – такой юный, а уже старший следак. В то время как его сверстников в срочном порядке вывозят погибать на разворачивающуюся бойню, он – серая мышка – усердно штампует расстрельные статьи. В Москве у следователя Перепелицы новая квартира в доме на улице Горького – есть за что сражаться.

«И соседи у него, – думаю я, – непростые: на лестничной площадке, вероятнее всего, квартирует Минос – судья царства умерших, этажом выше Геката – богиня мрака, а под ним, вне всяких сомнений, то и дело передвигают мебель подполковники Танатос и Гипнос...»

Следователь Перепелица берет с места в карьер. Биографию мою он меряет косой саженью, спрашивает то о службе, то о Великой войне. Дельце это ему хочется сшить наскоро,

однако помогать в столь спорном предприятии я не готов – мне, как ты понимаешь, умирать не с руки.

– Значит, будем бодаться?

– Никак нет, товарищ следователь...

– Я вам не товарищ!

– Тоже верно...

И хотя Харон – такой же штатный сотрудник НКВД, как и Перепелица, лодка его всё же имеет некоторое расписание – несколько первых ходок я предпочитаю пропустить.

– Нестеренко, у нас с тобой есть два варианта: ты сейчас же мне честно во всем сознаешься, и суд, принимая во внимание твое содействие, вынесет справедливый советский приговор, или же...

– Или же?

– Или же есть путь второй... Думаю, тебе, человеку военному, объяснять не нужно. Скажу только, что путь этот потребует от меня применения всех методов оперативной работы...

– Прямо всех?

– Да, Нестеренко, всех!

– Что ж, в таком случае я предпочитаю его.

– Хорохоришься, значит?

– Хочу, чтобы невиновность моя была доказана всеми возможными способами, гражданин начальник!

– Ну что ж...

«Ясно», – недовольно ворчит Харон и, выбросив окуроч,

отталкивается веслом от берега.

Покамест нам не по пути.

Так и не сумев наскоро усадить меня в кимбий, следовательно Перепелица вынужденно открывает многомесячный марафон допросов, в котором одни наши встречи оказываются стремительными, как влюбленность, а другие совершенно бесконечными, как боль.

– Ладно, Нестеренко, сегодня мы с тобой вот с чего начнем: расскажи мне, за сколько сгорает человек?

– Что?

– Я спрашиваю тебя, за сколько сгорает человек?

– За жизнь! – вырывая волосок из носа, отвечаю я.

– Нестеренко!

– Человек сгорает за полтора часа, товарищ следователь.

– Я уже говорил тебе, что я тебе не товарищ!

– Простите великодушно...

– Продолжай!

– Если причиной смерти становится расстрел, – спокойно и подробно объясняю я, – в ведерке с прахом остаются пули – одна, иногда две...

– Разве пули не плавятся при такой высокой температуре?

– Это зависит от сердечника...

– Понимаю... Показывай дальше!

– А что дальше?

– Нестеренко, показывай с того места, на котором вы со следователем остановились в Москве, рассказывай относи-

тельно ночи, когда в крематорий приехал Голов и потребовал от тебя выдать ему прах Зиновьева и Каменева...

– Понял, показываю дальше: обыкновенно пули из праха никто не извлекал...

– Почему?

– Потому что на все пули не хватило бы ведер...

– Так, давай без литературы!

– Давайте...

– Значит, Голов потребовал от тебя прах Зиновьева и Каменева, верно?

– Верно. В ту ночь Голов действительно потребовал, чтобы я вынес ему прахи больших товарищей Советского Союза Зиновьева и Каменева, из которых он собственноручно на моих глазах извлек пули...

– Зачем?

– А мне почем знать? Может, на зубы хотел переплавить?!

– Нестеренко, давай мы сразу с тобой договоримся, что обойдемся без шуток! Я сказал без шуток, понял?!

– Да...

– Таких, как ты, у меня здесь целый корабль! Я не позволю тебе тратить мое время, усек?!

– Еще как...

– А теперь продолжай! Для чего, по-твоему, гражданин Голов потребовал от тебя пули из прахов Зиновьева и Каменева?

Хороший вопрос, только стоит ли на него отвечать? Как

думаешь, сможет ли товарищ следователь поверить в то, что я расскажу? А если и поверит, то что с того? Что это может изменить? На что повлиять? Внутрипартийные ритуалы – вещь изощренная и сложноподчиненная. Нужен ли ему свой собственный Вергилий?

– Отвечай, говорю!

– Думаю, что, исполняя приказ, Голов очистил пули и отвез их товарищу Ягоде...

– Для чего, по-твоему, эти пули нужны были Ягоде?

– Сложно сказать...

– А ты представь!

– Думаю, что как человек сентиментальный для собственного удовольствия, теща самолюбие или наслаждаясь местью, а вполне возможно и то и другое, Генрих Ягода некоторое время держал эти пули в ящике письменного стола, однако, когда его самого расстреляли, памятные артефакты перекочевали в шуфлядку к товарищу Ежову, которого тоже, как вы знаете, кончили...

– Что такое шуфлядка?

– Когда я служил в Барановичах, так называли выдвижной ящик стола...

– Ясно. Продолжай показывать про пули...

– После Ежова пули, надо полагать, предложили товарищу Берии, однако он, будучи человеком не столько умным, сколько суеверным, думаю, отказался...

– Нестеренко, я последний раз тебя предупреждаю –

оставь свои шуточки и остроты!

– Да пожалуйста, но вы же сами спрашиваете, а я отвечаю...

– Ты утверждаешь, что Ягода и Ежов хранили пули расстрелянных Зиновьева и Каменева только для собственного удовольствия?

– Других причин не вижу...

– Ясно. Тебе известно, кто расстрелял их?

– Кто стоял за расстрелом или кто непосредственно выполнял?

– Кто выполнял?

– А какая разница?

– Вопросы здесь задаю я!

– Понятно... Зиновьева и Каменева расстрелял товарищ Блохин...

– Почему ты в этом так уверен?

– Это было видно невооруженным...

– Поясни!

– Я почерк Василия Михайловича Блохина хорошо знаю и работу его чрезвычайно ценю...

– В каком смысле?

– В таком смысле, что Блохин всегда аккуратен. Он труженик и настоящий профессионал. С уважением подходит к собственному делу, а следовательно, и к моему. Такие люди редкость.

– Поясни, говорю!

– Блохин всегда стреляет так, что пуля проходит в затылок снизу вверх, оставляя череп целым. Когда приговор в исполнение приводят его помощники, перекладывая трупы, я нередко вынужден собирать ошметки голов, что отнимает лишнее время. Согласитесь, если за ночь вам необходимо кремировать пятнадцать-двадцать человек, отвлекаться на такого рода хлопоты глупо. Впрочем, осечки бывают даже у Блохина. Несколько лет назад тело мужчины, которое я уже загружал в печь, подало вдруг признаки жизни. Вероятно, занятый рутинной работой, Блохин выстрелил как-то не так, и пуля не задела мозг, или что-то еще – не знаю, ведь Блохин расстреливал десятки тысяч осужденных, и, конечно, помарки при таких объемах могли быть... В общем, мужик тот оказался жив. Кажется, он даже соображал, что происходит...

– И?

– Что и?

– Что ты сделал?

– А что я должен был сделать? Конечно же я пришел на помощь товарищу!

– Какому товарищу?

– Блохину! Какому же еще?

– Нестеренко!

– Вам ли не знать, гражданин начальник, что нужно сделать с человеком, который по документам уже расстрелян, а на деле еще жив?

– Я спрашиваю, что ты сделал?! Выстрелил еще раз?!

– А чем бы я выстрелил? Взглядом? У меня табельного оружия нет. К тому же, зачем пулю тратить? Блохин приподнял мужчину за волосы и несколько раз ударил затылком о тележку. Когда все мы убедились, что осужденный мертв, я кремировал его...

Подобные истории, милая, действительно случаются – большой поток. В последние годы расстреливают много, к тому же на местах постоянно просят увеличить лимит. Всем хочется доказать свою преданность Москве. Негласная все-союзная спартакиада, в которой палачи соревнуются в показателях, разумеется, плодит помарки. Объем создает брак, впрочем, несмотря на множество заинтересованных, приблизиться к показателям Блохина практически невозможно. Стаханов курка! Пожалуй, только комендант Зеленый из Харькова, который лично расстрелял почти семь тысяч человек, может подняться на один пьедестал с великим Василием Михайловичем. В общем, добивать людей Блохину, конечно, иногда приходилось – издержки профессии. Например, несколько лет назад он повторно расстрелял некоего гражданина Чазова...

Как-то раз за бутылкой водки Блохин рассказал мне, что кулак Чазов, будучи приговоренным тройкой, бежал из-под расстрела в Новосибирске и приехал жаловаться на произвол чекистов в Москву. На допросе Чазов показал, что был осужден неправомерно, после чего его вывезли на полигон, уда-

рили прикладом по затылку и бросили в яму к другим таким же полуживым осужденным, как он. Всех их ленивые энкавэдэшники собирались расстрелять сверху вниз, стоя на краю рва. Так и поступили. Для проформы разрядили несколько обойм, однако во время бойни Чазов не шевелился, что и позволило ему спастись. Судя по всему, приняв его за мертвого, палачи не палили в него (хотя, конечно, должны были, потому что притворялись многие). Так или иначе, когда горе-коменданты уехали, Чазов бежал. Сперва из ямы, а затем и из города. Чазов приехал в столицу, чтобы рассказать московским следователям, что там, далеко в провинции, существуют перегибы на местах. Выслушав его, столичный дознаватель был обескуражен – прежде всего, работой новосибирских коллег. Халтуру осудили, а Чазова постановили расстрелять повторно и наверняка. Ответственное задание поручили самому опытному палачу Советского Союза – товарищу Блохину, и следует отметить, моя дорогая, что Василий Михайлович не подвел.

– Что ты еще можешь сказать о работе Блохина?

– А что еще можно сказать? Старательный товарищ, впрочем...

Впрочем, я знаю людей, которые Блохина критикуют. Одни говорят, что всякий раз после расстрелов он устраивает пьянки (что правда), другие – что время от времени присваивает себе вещи убитых (что тоже так). Как бы там ни было, ни в первом, ни во втором случае ничего предосудительного

я не вижу. У всякого продукта, даже в Советском Союзе, есть себестоимость – у всякой работы должен быть налог. Важно понимать, что, с одной стороны, труд Василия Михайловича тяжелый (иногда приходится расстреливать и по несколько сотен человек за ночь), а с другой... что плохого, если какой-нибудь плащ или, скажем, красивая жилетка сослужат добрую службу ему или его супруге? «К чему так печься о чужих вещах?» – иногда думаю я.

Если уж о чем-то и стоит беспокоиться, так, скорее, о дефиците, который имеет место в нашей стране. Если бы все эти красивые вещи Блохин мог купить в магазине – разве стал бы он снимать их с трупов и преподносить жене?

Иногда на такой-сякой тихой улочке Москвы родственники расстрелянных узнают вдруг на встречном прохожем редкие предметы своих пропавших близких: тут шарф, там совершенно особенные туфли, а вот на переносице кричат об исчезнувшем супруге исключительные по своей красоте французские, в роговой оправе очки (и надо же, подошли! Как символично, что и у палача, и у жертвы – близорукость). Понятно, что в такие моменты становится неудобно и Блохину, и другим исполнителям, а уж тем более их ни в чем не повинным женам. В такие дни случаются эксцессы – приходится задерживать и тех, кто опознал вещи своих родственников. Тайна должна оставаться тайной – массовых репрессий в Советском Союзе (почти) нет.

Я твердо убежден, что люди предназначены для разных

целей – одни рождены быть расстрелянными, другие рождены убивать.

Есть, например, женичины, с которыми приятно оказаться в темной комнате, доверить им свой член, но неприятно разговаривать после. Есть мужчины, с которыми вы предпочтете быть в бою, но ни в коем случае не захотите разговаривать в окопе в ожидании сражения. Я знавал мужчин, которых в разные периоды своей жизни называл друзьями, которым готов был излить душу, но с которыми ни в коем случае не захотел бы оказаться на одном отбывающем в Константинополь корабле. И наоборот. Наша жизнь состоит из людей, с которыми нам интересно говорить о театре, балете или опере, но ни в коем случае не хочется оказаться на соседних местах. Комендант Блохин – именно такой человек. С Василием Михайловичем удобно работать, но не очень-то хочется дружить.

– Благодаря Василию Михайловичу, – рассматривая ногти, продолжаю я, – мне не приходится выполнять лишнюю работу. Как вы понимаете, гражданин начальник, хватает и своей. Так, например, я ведь сжигаю не только трупы, но и вещи осужденных. Иногда, разглядывая ту или иную рубашку, я с сожалением бросаю ее в печь, представляя, что тут на ней могла бы появиться заплатка, а вот тут, например, быть пролито молоко...

– Нестеренко!

– Кроме этого, время от времени я вынужден сжигать

тент грузовика, которым накрывают привезенных расстрелянных. К сожалению, оливкового цвета ткань довольно быстро пропитывается кровью, начинает пованивать, и использовать ее на длинной дистанции не представляется возможным. Вот тут, думаю, Василий Михайлович недорабатывает. Мне кажется, что менять этот тент должен он сам или его подчиненные, впрочем, тут уж вопрос дискуссионный...

– Время дискуссий, Нестеренко, для тебя закончилось! Возвращаемся к Голову! Что еще тебе известно о его преступлениях?

Тут я отвечаю не сразу. Знаешь, милая, сперва я внимательно смотрю на него. «И зачем он только спрашивает меня о Голове? – думаю я. – Какой ему в этом прок? К чему собирать информацию на человека, которого уже расстреляли? Зачем мы тратим столько времени? Что ему нужно? Хочет посмотреть, буду ли я стучать на мудака, которого уже нет в живых? Желает проверить, до какой степени и я тоже свинья? Словно врач, щупает, как далеко в показаниях своих я могу зайти и кого еще смогу сдать? Да, теперь это, пожалуй, самое важное. Совсем скоро он убедится, что в шпионаже обвинить меня не удастся, и тогда начнет возить меня туда-сюда в одном-единственном стремлении услышать новые фамилии, которые там-сям пойдут или уже проходят по другим делам...»

– Так что тебе еще известно про Голова?

«Ладно, хочешь про Голова – получай про Голова, мерт-

вых мне несложно сдавать», — думаю я.

— Мне точно известно, гражданин начальник, что иногда, вместо того чтобы привозить трупы для кремации, он давал возможность хоронить их на Калитниковском кладбище...

— То есть это как?

— То есть это вот так...

— Ты хочешь сказать, что граждане узнавали, что их родственников расстреляли, и даже получали возможность захоронить тела?

Я хочу изобразить, что я человек честный, что сотрудничаю со следствием, и ты это прекрасно понимаешь, гражданин начальник.

Не помню, милая, говорили ли мы с тобой когда-нибудь об этом, но во времена работы парижским таксистом и много раньше, в годы, когда по долгу службы мне приходилось возглавлять полевые суды, я усердно изучал людей. Эту свою наблюдательную мышцу я старательно тренировал и теперь, смею утверждать, имею некоторый антропологический опыт.

Вот, скажем, этот Перепелица, ну ни капельки не актер! Юный еще — не научился изображать удивление. Плохо играет! Впрочем, про театр ты, конечно, знаешь гораздо больше — не буду, милая, так сказать, занимать твою сцену...

Про трупы, которые не доезжают до ям и рвов, следовательно, конечно, знает, однако образ честного советского человека обязывает его строить из себя дурачка. С другой сторо-

ны, уже на первом допросе я замечаю, что, несмотря на возраст и посредственные актерские способности, у оппонента моего есть и сильные стороны. Судя по всему, Перепелица – сотрудник талантливый, обладающий отличным профессиональным слухом. Следователь фиксирует только то, что действительно необходимо делу. Внимательно наблюдая за чекистской кистью, я без труда отмечаю те редкие моменты, когда включается его огрызок-карандаш. Перепелица реагирует предвзято и избирательно лишь на те отдельно взятые слова, что взаправду могут пригодиться в будущем. Думается, в другие времена из него получился бы хороший редактор. Ничего лишнего, вот это все давайте уберем, а вот здесь у вас повтор...

О великое ремесло человека-функции! Забойщик-комбинатор, мой дорогой собеседник как никто другой умеет вылавливать и приобщать. Подобно настройщику органа в подотчетном мне Московском крематории, Перепелица не обучен играть на инструменте, но отлично понимает, как его отстроить. Следователь не исполняет, но лишь подготавливает инструмент для тех своих коллег, которые со всей мощью и советским остервенением однажды зафальшивят мой приговор.

– Всякий диктаторский режим, гражданин начальник, непременно держится на коррупции, – с улыбкой, после некоторой паузы, продолжаю я.

– Про диктаторские режимы – это твое мнение?

– Это цитата.

– Чья?

– А я уж и не вспомню...

Знаешь, милая, Перепелица цокает, но даже не улыбается! К великой грусти все эти бесконечные ночи мне придется беседовать с человеком без чувства юмора. Купированная ирония, кастрированный сарказм. Насмешливость, язвительность и колкость – о нет, все это, увы, не про следователя Перепелицу. Чем больше я узнаю своего дознавателя, тем сильнее убеждаюсь, что всё в нашей судебной системе устроено не так: арестованный должен выбирать своего дознавателя, а не наоборот. Что я могу рассказать ему? О чем нам вообще можно разговаривать, если он застегнут на все пуговицы? Мой дорогой юнец не бывал ни в Софии, ни в Берлине, даже если я захочу описать ему атмосферу Версаля, разве сможет он прочувствовать ее? Как между нами могут сложиться столь необходимые советскому правосудию доверительные отношения, если товарищ Перепелица не умеет смеяться над собой? Тот же Блохин, например, очень хорошо шутит о расстрелянных, а наш общий коллега, Окунев, пускай и при довольно странных обстоятельствах, но все же иногда заговаривает со мной о театре. И разговоры эти, милая, я, конечно, чрезвычайно ценю...

– Не очень-то вы любите веселиться, правда, гражданин начальник?

– Отчего же не люблю? Очень даже люблю, но только с

друзьями, с товарищами по оружию, а не с врагами народа!

– Так ведь нынче каждый день товарищи становятся врагами, верно?

– Не переживай! Скоро мы эту ситуацию исправим!

– Это как же?

– А перебьем всех вас!

– Вы правда полагаете, что это возможно?

– Возможно!

– Вы в самом деле думаете, что можно дойти до какой-то такой точки, когда Советский Союз сможет уничтожить последнего врага и наконец приступит к строительству идеального общества?

– Я в этом твердо убежден!

– Дело непростое...

– Не ехидничай, Нестеренко, все необходимое для этого у нас есть!

– О, могу себе представить! Великие советские рудники! Миллионы доносов и показаний, золотые прииски оговоров да журчащая непрошенная клевета, да?

– Красиво, Нестеренко, очень красиво, да только зря ты тут умничаешь и строишь из себя весельчака! Очень зря! Я знаю, что ты, как и все те, кто сидел на этом стуле до тебя, просто гниль, падаль и трус! Ты лишний человек в нашей стране, Нестеренко, ты – враг!

– Правда? Лично мне кажется, что Советскому Союзу я приношу много пользы...

– Тебе кажется! У нас незаменимых нет! У тебя перед Советским Союзом осталась только одна и последняя обязанность – предельно точно отвечать на вопросы следствия. Ты избобличен! Твой долг, Нестеренко, выдать своих подельников!

– Ну-у... долг есть долг...

– Заткнись и внимательно слушай мои вопросы! Итак, откуда тебе известно, что некоторых осужденных хоронили на Калитниковском кладбище, а не привозили на кремацию?

– Я что-то не очень понимаю, гражданин начальник: вы меня обвиняете в работе на другое государство или спрашиваете про московские кладбища и трупы людей, которых сами же приговорили к расстрелу?

– Отвечай на мой вопрос!

Ответить-то я, конечно, отвечу, только вот ведь и мой вопрос интересен, правда? И в самом деле скольких людей, которых расстреляли из-за его старательной работы и желания жить в самом центре Москвы, привозили ко мне, а? Во скольких его делишках именно моими руками была поставлена точка?

– Нестеренко, ну что ты вылупился? Я повторяю, откуда тебе известно, что некоторых осужденных хоронили на Калитниковском кладбище, а не привозили на кремацию?!

Ну что ж – раз уж ему так не терпится – у Петра Ильича всегда найдется ответ!

– Референт Московского совета Эммануил Абрамович

Цейтлин приблизительно в 1932 году рассказал мне, что труп его расстрелянного родственника при помощи могильщиков Калитниковского кладбища был обнаружен семьей...

– Как это они его обнаружили?!

– Вот и у меня такой же вопрос возник! Ну уж точно не стол вертанули...

– Нестеренко, как они обнаружили захоронение?!

– Встретившись как-то с Головым, я спросил его, как это так получилось, что труп расстрелянного оказался похороненным на Калитниковском кладбище, и родные имели возможность оформить могилу...

– И что он на это ответил?

– Голов ответил мне, что такие факты действительно имели место быть, однако к периоду, в который случился наш разговор, они уже были устранены...

– А почему вы вообще говорили об этом с Головым?

– В период с 1932 по 1935 год, как вы знаете, я ведал всеми кладбищами Москвы. Однажды я сказал Голову, что в связи с тем, что трупы расстрелянных преступников незаконно закапываются на Калитниковском кладбище, может произойти казус, когда могильщики, копая яму для «нормального» погребения, обнаружат вдруг сюрприз в виде трупов расстрелянных...

– И как на это отреагировал Голов?

– Голов фыркнул, что меня это не касается.

– Понятно. Тебе еще известны случаи, когда родственни-

ки расстрелянных обнаруживали трупы и устанавливали могилу?

– Со слов Голова, таких случаев было всего несколько, но конкретно больше ничего показать не могу.

– Уверен?

– Как пить дать.

– Были ли случаи, когда прах расстрелянных уходил на сторону?

– Прах?

– Да, Нестеренко, прах!

– Во-первых, иногда прах забирали на удобрения в поля...

– Зачем?

– Это вы у Вавилова спросите...

– Я же сказал тебе – хватит острить!

– Во-вторых, зимой в целях экономии песка, которого, надо отметить, на кладбище поставляли чрезвычайно мало, я посыпал дорожку от крематория до ямы, но только в нескольких местах, чтобы не поскользнуться. Так или иначе, масса, так сказать, утерянного или изъятого праха всегда оказывалась совершенно незначительной, так как четкого указания, куда и сколько я должен был ссыпать, у меня никогда не было.

– Ясно. Значит, я правильно понимаю, что привезенные Головым и Блохиным трупы ты всегда кремировал по ночам?

– Конечно, а когда же еще?! Днем ведь у меня была ос-

новная работа...

– А спал-то ты когда?

– Обыкновенно я спал с пяти до десяти часов утра, к тому же, если позволяла ситуация, любил на полчасика проваляться и в сон дневной – днем, если вы замечали, гражданин начальник, самые интересные видения обыкновенно случаются. Знаете, однажды...

– Нестеренко, мне тут не нужно твоих снов!

– Отчего же?

– Меня интересует твоя профессиональная деятельность, а не сны!

– Профессиональная?

– Да! Вот, например, сколько ты кремируешь за день?

– За день сложно сказать...

– Напрягись!

– Официальных или ночных?

– Сперва официальных...

– Проще посмотреть по годам... В 31-м, помню, я кремировал что-то около 8300 человек, в 32-м – чуть более 9000. Далее эта цифра оставалась примерно на этом же уровне. Получается – в среднем двадцать человек в сутки, но это, повторюсь, без ночной работы...

Бог тefры. Все вулканы мира, милая, завидовали количеству пепла, которое я ежедневно производил. Мой подвал на Донском кладбище был настоящим царством Аида. Сын Реи и Кроноса, брат Зевса, я был тем, чье имя старались не

произносить. И все же, милая, я был не Танатос – я был не смерть. Скорее Аид – Аид, правящий царством, которого не желал. Зевсу – мир людей и мир неба, Посейдону – мир морской, а мне все кладбища Москвы и первый крематорий – место, которое даже у богов вызывало отвращение...

– Так, а что в другие года?

– Говорю же, в другие года примерно на этом же уровне, меньше только в 1938-м...

– А что произошло в 38-м?

– Печь не выдержала...

– В смысле?

– После 37-го у нас, если так можно выразиться, начались проблемы с поддержанием постоянной температуры репрессий – человек может вытерпеть многое, а вот техника иногда нет. На год мы оставили только утренние кремации, а по ночам Блохин возил трупы на полигоны.

– Ясно. Теперь продолжай показывать относительно дневной работы...

– Работа, надо сказать, была самая обыкновенная: семьдесят процентов поступающих были мертворожденные младенцы и бесхозы, впрочем, случались и интересные дни. Вы вот, например, знаете, гражданин начальник, что именно я кремировал Маяковского?

– Знаю, Нестеренко, знаю...

– Не сказать, что я хочу перед вами похвастаться, но я ведь, между прочим, очень много для нашей страны делал и

днем! Взять, к примеру, того же Маяковского – о, мне и не передать вам, что там творилось на его-то похоронах! Тяжелый, нервный был денек! Москву буквально парализовало. Люди сидели на деревьях, встали даже трамваи! За грузовиком с гробом двигались не меньше ста тысяч человек!

– Так уж и сто...

– Точно вам говорю! Все эти недоумки, которые в жизни и строчки его не прочли, людишки, которые ни за что на свете не отличили бы его ни от Есенина, ни от Блока, залпом решили завалиться на его похороны. Зевак было до того много, что конная милиция, оттесняя толпу от ворот кладбища, начала палить в воздух! Я помню, что тогда еще подумал: хоть бы они никого лишнего не уколошили, и давки только бы не случилось – наверняка же сразу потащат тела ко мне, а мне тут дополнительная работка не нужна!

– А что ты, Нестеренко, кстати, делал, когда лишние трупы приходили?

– Лишние?

– Ну сверх мощностей...

– Да теперь-то такого особенно и нет. Ну а даже если и приходили, то что с того? Это раньше в церквях колокольні телами до весны набивали, пока грунт не станет податливым. Например, в 1918 году в Москве полный завал был! Брюшной и сыпной тиф, холера и скарлатина. Трупы, как дрова, складировали в мертвецких комнатах. Вы вот знаете, гражданин начальник, что по России-матушке ходил поезд,

который собирал тела вдоль рельсов? Нет, а вот так-то! А в Москве да, жмуры горой на кладбищах лежали, но нынче такого уж нет, гражданин начальник. С трупами (официальными) теперь всё строго. Во-первых, есть морозильные камеры, а во-вторых, если уж и случается какой-никакой перебор – так ведь всегда можно загрузить в печь два тела, вот так вот, валетом их одного на другое кладете и...

– И что, помещаются в печь сразу два?

– Да-да, мы это довольно давно опробовали, еще в те времена, когда билеты продавали...

– Какие еще билеты?!

– Входные...

– Куда входные? В крематорий?

– Ну да! В первые годы работы, сразу после открытия, мы много делали для популяризации кремации в СССР. По всей Москве, например, висели плакаты, в которых объяснялось следующее:

Кремация

1) идеальнейший способ погребения

2) абсолютно удовлетворяет всем требованиям санитарии

3) разрешает земельно-кладбищенский кризис городов

4) незаменима при эпидемиях, войнах и народных бедствиях

5) рассеивает вековые предрассудки

6) наиболее красивый и дешевый способ погребения

7) легкий способ передвижения останков

8) сберегает время родных

9) источник для архитектурного, технического, художественно-промышленного творчества

10) признак высокой культуры

Кроме этого, мы действительно считали, что для просвещения масс необходимо было показывать церемонии максимальному количеству интересующихся, а потому продавали билеты...

– В крематорий на экскурсию или на саму кремацию?!

– Да, конечно, на саму кремацию!

– Это как?

– Это так, что еще лет десять назад вы могли купить билет и наблюдать за процессом. Очень, кстати, охотно люди шли...

– Даже если вы не родственник?

– Да кто угодно мог прийти!

– И как можно было наблюдать за кремацией, если там створки, насколько я понимаю, закрываются?

– А в печи есть такое специальное техническое отверстие, через которое видно, как сгорает труп...

– И что они там видели, эти люди, купившие билет?

– Ну кто что – это ведь зависело от очереди. Первые наблюдали за тем, как вспыхивал гроб, вторые – как обгорали ткани конечностей, как обжигался костяк головы. Одним доводилось видеть, как расходятся швы черепа, другим – как

отпадают пальцы, руки, как исчезают реберные хрящи. Везунчики любовались горящим мозгом. Еще можно было наблюдать, как голова отделялась от туловища, а дальше уж ничего особенно интересного и не было – так, догорание, зольная масса. Впрочем, совсем скоро я от этой практики отказался...

– Почему?

– Ну во-первых, родственники покойника не очень-то были рады группам незваных гостей, а во-вторых, я и сам сердился, потому что вечно находился какой-нибудь хер, который, размахивая купленным квитком, жаловался, что еще не досмотрел. Вот если бы мне удалось продать билеты на кремацию Маяковского – о, думаю, что заработали бы мы больше, чем целый стадион! К тому же мы могли бы делать это на более-менее постоянной основе, ведь кроме Маяковского я кремировал, например, поэтов Пикеля, Клычкова и Мусатова, впрочем, последние были расстреляны тайно, так что к ним мы бы все равно никого не пригласили...

– А там были только его родственники?

– Где там?

– Ну на похоронах Маяковского...

– А, там, да. Брик эта его хныкала. Я помню, что так аккуратно попросил ее в сторонку и под звуки Интернационала отправил поэта в последний путь. Кстати, раз уж мы говорим о Маяковском – сразу вам скажу, гражданин начальник, что в последнее время творчество его не особенно ценил.

– Это к делу не относится!

– Ну почему же? Слишком уж он выпячивал свою любовь к Советам, понимаете? Искренности в этом не было, а позы много. По мне, так можно было работать и лучше, и тоньше, как, например, тот же Блохин. А что до самоубийства, так это он вообще зря такой поступок совершил. Я твердо убежден, что нет на свете вещи, из-за которой следовало бы стреляться...

– Ты не допускаешь, что мог бы застрелиться?

– Я?

– Да.

– Да никогда!

– Почему?

– А чтобы что?

– Люди, Нестеренко, стреляются не чтобы что, а отчего-то...

– Ну во-первых, стреляются все, конечно, по разным причинам, а во-вторых, всё же и по одной. Люди стреляются, гражданин начальник, потому что слабые. Едва на горизонте появляется какая-нибудь крохотная проблемка, все тотчас раздувают ее до размеров цеппелина. Вот что с того, что ты, брат, застрелился? Тебе-то, может, и легче, но дальше-то ничего нет – тьма!

– Откуда ты знаешь, что дальше тьма? Ты что, в крематории своем вместе с трупами в печь залезал?

– Я и ранен был, и на самолете падал. Не один раз без со-

знания лежал, считай, уже всё, на том свете был. После смерти ничего нет, гражданин начальник, одна темнота. Мозг перестаёт работать – и всё. Так что стреляться, повторюсь, ни в коем случае нельзя! Ты вот пулю себе пустил, а родственникам одни хлопоты: комнату за тобой прибери, мозги твои собери, похороны устрой, плач вне плана. У тебя, может, ожидания какие-то от субботы, свидание, интрижка, а тут вдруг брат там или батя твой пулю заглотнул. И всё! Хана! Люди, которые кончают жизнь самоубийством, во-первых, очень слабые люди, а во-вторых – большие эгоисты! Советскому человеку самоубийство должно быть чуждо!

– Заканчивай давай...

– Знаете, гражданин начальник, я только одно добавлю – у меня есть такой очень простой, но в то же время довольно действенный способ, может, он и вам когда-нибудь пригодится: что бы с вами ни случилось, что бы ни произошло, вы всегда можете добавить к этому событию всего несколько слов – и проблема тотчас решится сама собой...

– Это каких же?

– Но не более того...

– Но не более того?

– Да!

– Умерла мать?

– Но не более того...

– Погиб сын!

– Но не более того, гражданин начальник...

– Тебя, Нестеренко, расстреляют!

– Но не более того...

– Я не шучу, тебя действительно расстреляют!

– Говорю же – но не более того...

– А потом еще и жену твою арестуют!

– И?

– Что и?! Неужели тебе на это наплевать?!

– Гражданин начальник, в Индии, когда муж уходит в иные миры, вдова совершает омовение. Она распускает волосы и, надев лучшее платье, вместе с родственниками идет к месту кремации супруга. Взявшись за руки, близкие окружают ее, сковывают ей ноги и кладут голову на тело любимого...

– Отрубленную?

– Что отрубленную?

– Голову отрубленную кладут?

– Да вам бы лишь бы отрубить, гражданин начальник! Живую! Живую, конечно! К женщине подходят знакомые, угощают ее сладостями и просят передать сообщения усопшим родственникам в мир мертвых. Неплохая традиция, верно? Нам бы тоже ее ввести. Как только видите, что за тем или иным товарищем приехал воронок – хорошо бы не по шкафам прятаться, а подбежать да успеть передать приветы в иные миры, верно?

– Не отвлекайся – у нас мало времени! Так что там дальше они делают?

– А дальше жрец читает мантры, окропляет голову вдовы водой, и после этого дорогие родственники поджигают поленья. Женщину мгновенно охватывает пламя, но цепи уже не дают ей вырваться. Она кричит, но уходит вместе с мужем. Так что, если моей жене и суждено пройти через череду допросов, она через них обязательно пройдет, гражданин начальник, но не более того...

– Проверим.

– Валяйте...

Как ты понимаешь, милая, женой меня Перепелица, конечно, пугает, впрочем, как и расстрелом. Зря. К этому страшному для других арестантов слову я давно готов. Смерть я примеряю десятилетиями – смерть на мне сидит хорошо. С ней я и танцую, и засыпаю, и говорю по душам. Со смертью я так хорошо и близко знаком, что мы уж даже и не флиртуем...

В годы Великой войны, как ты помнишь, я председательствовал в военно-полевом суде. Хотя решения подобные меня всегда тяготили, нередко приходилось приговаривать к расстрелу дезертиров. Казни эти получались обыденными и некрасивыми. Без барабанов, эшафотов и гильотин. Так, пустяк, смерть на заднем дворе. В подобные дни она проходила мимо, даже не поздоровавшись со мной...

Кажется, я до сих пор помню двух первых пареньков, которых не смог оправдать. Дурачье. Самострелы. Мне их жаль было – оба совсем сопляки, однако, что я мог поделать? Пра-

вила военного времени. Снисхождения моего никто бы не принял. Даже однополчане, которые уже следующим утром собиралась бежать с фронта, спрашивали, в котором часу мы расстреляем этих детей. Война затягивалась, уклонисты росли как грибы после дождя, и, хотя я полностью разделял их стремление жить, положение вынуждало меня выносить обвинительные приговоры, коих с каждым днем становилось всё больше.

Теперь я понимаю, что более всего прочего война отвратительна тем, что обязывает тебя убивать против собственной воли.

Знаешь, милая, наблюдая за казнями, я нередко замечал, как после расстрелов мои сослуживцы начинали прикидывать смерть и на себя: «А как это будет со мной? А ударит ли дождь, а всплакну ли я?»

Вопросы эти нередко обсуждались и во время попоек. Одни офицеры утверждали, что никакого смысла в предсмертных бравадах нет, что какой толк демонстрировать мужество, если тебя через мгновение потащат за ноги, другие, напротив, настаивали, что человек должен оставаться собой до конца, что без этого финального и символичного вызова жизнь нельзя считать завершённой. Более того, многие мои «товарищи» с пеной у рта доказывали, что одно такое секундное малодушие способно перечеркнуть все представление о человеке: «Никто не вспомнит, как ты вел себя в бою, но все вспомнят, как ты просил о пощаде во время расстре-

ла, и даже наоборот – можно всю жизнь быть подлецом и трусом, но расстрел позволяет тебе в корне исправить представления о себе всего за несколько секунд!»

Впрочем, все эти досужие дебаты велись о смертях чужих. Что же касается кончины собственной... надо полагать, что реальное ощущение неминуемости расстрела пришло ко мне не на войне, а много позже, уже в Москве. С определенно-го времени у печи крематория начали появляться не только трупы неизвестных мне граждан, но и люди, которые долгие годы эти самые трупы привозили. Шутка ли – я кремировал того же Голова... Он доставил на Донское кладбище не одну тысячу расстрелянных, вместе с ним было выпито озеро водки, но однажды его вдруг арестовали, а потом спустя несколько месяцев знакомое тело выбросили из кузова грузовика.

В ту ночь вместе с Блохиным мы сделали вид, будто ничего особенного не происходит, – очередной заключенный, но что с того? И все же, люди взрослые, мы оба понимали, что в печь отправляется один из нас, что репрессии бьют по всем, и, если Голов уже здесь, значит, во время допросов стопроцентно всплывали и наши фамилии.

«С ним понятно, – думал я, – но как быть со мной? Интересно, дело на меня уже завели? А что там написано? В чем они обвиняют меня? И главное – Блохин расстреляет меня или я успею кремировать его?»

Когда мысли эти стали ежедневными, я принялся репети-

ровать собственную смерть. Представляя все детали предстоящего действия, как актер в театре, я начинал практиковать будущий расстрел. Однажды, уже изрядно приняв на грудь, я даже спросил у Блохина:

«Михалыч, а как бы ты расстрелял меня, а?»

«Что?!»

«Я говорю, как ты меня однажды расстреляешь?»

«Петь, отвали – дай отдохнуть!»

«Ну нет, мне интересно, как это будет?»

«Быстро, Петь...»

«А быстро – это как?»

«Млядь, ты че? Хера ты заладил, а? Мне вот плевать, как ты меня кремируешь...»

«Тебе плевать, а мне нет! Мне интересно! Вот подойду я к тебе, стану затылком, но руку-то пожму?»

«Во-первых, во время расстрела руки у тебя будут перетянуты проволокой. Во-вторых, не ты ко мне подойдешь, а тебя поставят в “красный уголок”. Я подойду сзади, вот так пистолет приставлю и выстрелю. Ничего особенного, Петь...»

«А тебе будет жалко меня?»

«Нет...»

«Ну-у, неужели ты вообще ничего не почувствуешь?»

«Я тебя даже не узнаю...»

«А потом?»

«А потом я сниму свой кожаный плащ, разденусь до пояса и помоюсь одеколоном, чтобы порохом и кровью твоей

поганой не вонять – наливай давай!»¹

В ту ночь, репетируя собственный расстрел, я, конечно, задал наивный вопрос. Что за глупость? Ну, естественно, палач бы не дрогнул – на то он и палач! К моменту нашей беседы Блохин перебил тысячи советских граждан. Вдох или выдох. Чих. Блохин обладал безэмоциональностью, которой позавидовали бы многие из машин. Тик. Так. В сущности, он был идеален. О стойкости этого человека следовало слагать легенды, ведь комендант Блохин был и оставался не человеком даже, но спусковым курком.

Однажды Василий Михайлович рассказал мне про своего коллегу из Украины, коменданта Нагорного, – тот перебил почти всю собственную комендатуру – то есть все свое ежедневное окружение. Воистину сюжет, заслуживающий отдельной театральной постановки! Ты, конечно, лучше в этом разбираешься, милая, но мне кажется, что в его истории была невероятная внутренняя пружина! Комендант Нагорный из города Киева жил двойной жизнью: по утрам

¹ В действительности счет будет ничейным. ЦДКА – «Динамо» 0: 0. Блохин не расстреляет меня – я не кремирую его. Сразу после смерти Сталина, в апреле 1953 года, Василий Михайлович будет отправлен в отставку, а уже в феврале 55-го, не представляя собственной жизни без любимой работы, от тоски и пьянства умрет в центре Москвы. Блохина похоронят на Донском кладбище близ Первого Московского крематория. Палач окажется буквально в одной земле с тысячами им же расстрелянных людей, но с той лишь разницей, что у жертв советских репрессий могил не будет, а Василий Михайлович Блохин получит едва ли не лучшее место у самого входа на кладбище, рядом с монументом бывшему председателю Государственной думы Сергею Андреевичу Муромцеву. Судьба.

он был занят решением бытовых проблем, выдавал сапоги и ключи, а по ночам, как и многие другие коменданты Советского Союза, становился палачом. Сперва он расстрелял одного знакомого сослуживца, затем второго, третьего. Так, день за днем, украинский коллега Блохина уничтожал людей, которые составляли его ареал. Знакомый комендант – последнее, что видели киевляне в своей жизни. Каково же должно было быть их удивление! Этот маленький человек, которому они так запросто хамили, этот серый простачок, которому они приказывали поскорее выдавать им канцелярские предметы и обещали написать жалобу, теперь вершил их судьбу...

«Вот с кого нужно брать пример! – опрокидывая рюмку, однажды с улыбкой сказал мне Блохин. – И вот почему нельзя хамить таким людям, как я!» – «Никому вообще нельзя хамить...» – добавил я.

Все эти последние годы, милая, возвращаясь домой под утро, я все чаще ложился в кровать с мыслью о собственном расстреле. Обнимая сына, я представлял, как однажды ночью дуло пистолета коснется моего затылка. «Будет ли оно холодным? Вряд ли, – переворачиваясь с боку на бок, как правило, пьяный, рассуждал я. – Одного меня расстреливать никто не станет – соберут группу, и значит, едва коснувшись головы, ствол обожжет. Впрочем, уже мгновеньем позже пуля повалит меня на пол, а я толком и не успею испытать особенного дискомфорта из-за перегретого ствола».

Разглядывая потолок, улыбаясь спящему Феликсу, нередко я представлял, как пуля разорвет кожу, просверлит череп и выйдет через глаз или рот. Звучит как финал, я знаю, однако на этот счет у меня имелось иное соображение. Я знал, что даже после расстрела не перестану дышать. Я знал, что, когда палач, пусть это будет сам Блохин, решит нажать на курок, за мгновение до выстрела я чуть дернусь, и это позволит мне выжить. Да-да, милая, я все рассчитал! Среди всех дневников, которые при обыске изъяли товарищи Козлов и Лягин, расстрелу моему была посвящена едва ли не половина тетрадей – страницы, расчерченные траекториями, пулями и дульными срезами. Думаю, однажды мои расчеты станут истинным лакомством для профессиональных баллистиков, если, конечно, Перепелица не уничтожит их. Впрочем, я не к тому. Я хотел рассказать тебе, милая, что, перерисовывая собственную казнь, я предвосхищал разные планы и устремления пуль, однако всякий раз констатировал один и тот же исход – пульс.

Таков был мой план. Я знал, что в ночь расстрела найду в себе силы сыграть смерть. Вот. Вот она великая роль, о которой другие артисты могли только мечтать! Я не сомневался, что отыграю собственную смерть так, что в нее поверят три главных критика Советского Союза – три сотрудника НКВД. Словно в награду, признавая мой талант, за ноги они вытащили бы меня на внутренний двор и бросили бы к другим трупам в машину. После же, едва грузовик с надписью

«шампанское» выехал бы за пределы тюрьмы, я выпрыгнул бы из кузова...

– Смельчака из себя строишь? Думаешь, что первый у меня такой? Думаешь, до тебя тут не было людей, которые заблуждались, что смогут избежать наказания? Ты хоть понимаешь, Нестеренко, сколько мы таких, как ты, перемололи и не заметили?

– В силу профессии догадываюсь...

– И правильно делаешь! Поэтому еще раз объясняю тебе: не нужно производить на меня впечатление, не нужно из кожи вон лезть и стараться показать, что ты смелее или лучше, чем есть на самом деле, просто отвечай на мои вопросы и показывай по существу!

– Как скажете, гражданин начальник...

– Хорошо! На этом мы сегодня прервемся, а в следующий раз ты будешь отвечать четко и кратко, понял меня?

– Да.

Так заканчивается мой первый саратовский допрос, дорогая. В целом я остаюсь собой доволен. Время выиграно, и толком ничего не прояснено. Я держусь молодцом. О моей шпионской деятельности мы, в сущности, даже не заговариваем. Индия, кремация, Маяковский – все это к делу не приобщить. Перепелица только начинает расставлять капканы, но пока – чаще сам цепляется за мои крючки. Правда в том, моя милая, что у нас с ним разные цели: он должен убить меня, я же намерен убивать время. Благо в этой игре у ме-

ня есть некоторый опыт. Я собираюсь отнекиваться до тех самых пор, пока следователь не удостоверится в моей невинности – это и есть мой план «А». Впрочем, план «Б», как ты уже поняла, у меня тоже имеется...

Допрос второй

- Начинай показывать, как ты был завербован вражеской разведкой!
- Вражеской разведкой я завербован не был. Обвинения ваши решительно отвергаю!
- Нестеренко, да на тебе клейма негде ставить! Мы же знаем, что ты на кого только не работал!
- Это другое...
- Другое?!
- Да! Да, действительно, в силу обстоятельств и исторических кульбитов мне иногда приходилось работать на многие государства, но никогда, слышите меня, гражданин начальник, никогда я не работал против Советской страны, и даже наоборот!
- Упираешься, значит, опять с самого начала, да?
- Сотрудничаю со следствием...
- Хорошо, тогда мы сегодня – благо позволяет время – начнем издалека...
- Из самого далекого далека?
- Из самого! Давай, начинай подробно показывать мне, где и в каком качестве ты служил в период с 1915 года...
- Опять?! Но я ведь уже рассказывал об этом в Москве!
- Но не мне ведь, верно?
- Да, но...

– Показывай давай, но не быстро – сам видишь, я сегодня один...

– А где, кстати, наша дорогая машинистка?

– Приболела...

– Понятно...

– Понятно ему – я говорю, показывай давай!

– Прямо с 1915 года, опять?

– Да...

– Ага... Хорошо... Показываю... Значит, в 1915-м я находился на фронте, командовал ротой 33-го стрелкового Сибирского полка...

– Сибирского полка...

Пока он пишет, признаюсь тебе, милая, что военным я быть никогда не хотел. Думаю, слова эти теперь немало удивят тебя, но это правда. Ты не поверишь, но едва ли на свете была вещь, которая страшила меня больше службы в армии. Время стирает все, я теперь предельно иной человек, и все же, если только воспоминания не обманывают меня, то там, далеко, в детстве, я был мальчиком тихим, скромным и всецело увлеченным природой. Не знаю, так ли это, но ведь ты лучше помнишь меня...

Ты помнишь, милая, как, пропадая в лесу целыми днями, я мог подолгу изучать лягушек, насекомых и птиц? Кажется, всякий раз я делал это осторожно, чтобы ни в коем случае никому не навредить. Я знаю, после всего, что я рассказываю, теперь даже тебе, наверное, в это сложно поверить, но

в детстве я был человеком совсем иным — я рос ребенком любящим, открытым и трепетным.

Помнится, однажды во время охоты отец заметил, что я глажу подбитого им зайца. Вместо того чтобы обнять меня, папенька приказал добить зверя. Я выкрикнул что-то грубое, совершенно мне несвойственное, и убежал. Поведение мое отец счел малодушным. Не грязные слова, но слезы мои его оскорбили. Ему вдруг стало очень жаль себя...

С того дня он принялся воспитывать во мне мужчину. Едва ли не каждый день отец устраивал мне «проверки на смелость», которые я то и дело проваливал. Для чего нужно было с риском для жизни прыгать через глубокие овраги, забираться на высокие деревья и заниматься с гантелями, я решительно не понимал. Не знаю, помнишь ли ты то время, милая, но несколько раз в неделю он ставил меня боксировать с сельскими парнями, которые, понятное дело, были гораздо старше и крепче меня. Раз за разом эти здоровенные детины натурально избивали меня. Едва я падал на землю, папенька принимался называть меня слабаком и даже бабой. Его строгость и нарочитая мускулистость меня не закаляли, но, напротив, только отпугивали. Так мы и ходили по кругу, пока однажды после шести классов Николаевского реального училища, как ты хорошо помнишь, он не принял решения отправить меня в юнкерское училище.

«Жизнь не будет баловать тебя, Петь. Ты не должен щадить себя! Ни себя, ни окружающих. Если только однажды

пожалеешь себя – все, считай, ты щенок, а не человек! Если же я узнаю, что учишься ты хуже других или, что еще хуже, опозорил ты нашу фамилию трусостью – богом клянусь, Петр Ильич, на порог этого дома я тебя не пущу, но прилюдно, здесь вот перед всем миром до смерти высеку!»

Так я был отдан в Одесское пехотное юнкерское училище, где еще долгое время, слыша краткое «Петь», пугался, улавливая в этом слове «плеть», что нередко появлялась в руках отца.

С первых дней в училище я решил, что стану военным не менее известным, чем герой Порт-Артура Марк Тапсашар. Ежечасно перебарывая собственный страх, в единственном желании оправдать надежды отца и покорить тебя, я то и дело ввязывался в кулачные бои со сверстниками, делая это для того только, чтобы продемонстрировать отсутствующее мужество. Я атаковал прежде всего самого себя, выбивая из собственного сердца доброту, открытость и нежность, которые, должен признаться, в этом веке мне действительно негодились. Выходит, я должен поблагодарить отца...

– Продолжай!

– В середине января 1915-го я получил тяжелое ранение, и меня эвакуировали в лазарет в Ломжу.

– Что это за Ломжа?

– Хорошее местечко. Пара заводов и фабрик, два рынка и театр. Публичная библиотека, мужская и женская гимназии, три костела, жаль только, что всей этой красоты я так и не

увидел, гражданин начальник, потому что лежал в госпитале...

– Ты не тараторь, а продолжай показывать о войне!

– Так а что показывать-то?

– Как все было, показывай!

– А как все было?

– Нестеренко!

«Показывай, как все было!» А как все было? Понятно же как... Тонкая карточка в библиотеке воспоминаний – легко порезаться. Говорить о войне мне, конечно, не хочется. Всю свою жизнь я стараюсь ее забыть, а он...

Война эта была нужна папеньке и людям вроде него, но не мне. Жертвоприношение на алтарь отцовских глупостей. Получив ранение, я был так горд собой! Наивный, я ожидал лишь того дня, когда смогу приехать домой и, указав на заштопанную шею, предъявлю отцу собственную храбрость, но когда это в действительности произошло, я услышал лишь несколько холодных, пронизанных несправедливыми упреками вопросов:

«Разве война закончилась? Если ты смог приехать сюда – значит, чувствуешь себя хорошо! Решил пересидеть, пока другие твои товарищи сражаются?! Боишься возвращаться на фронт? Никогда не думал, что воспитаю труса!»

Неужто и правда ожидает теперь товарищ Перепелица, что расскажу ему обо всем с самого начала? Разве и вправду думает он, что начну описывать, как на войну эту мечтал

попасть, как бредил вернуться в отпуск с Георгиевским крестом? Всерьез ли он сейчас надеется, что стану описывать вокзал, заполненный странными людьми, которые преступно подбадривали нас? Какого он года? 13-го? 15-го?

Когда началась война, ему, гаденышу, наверное, не было и пяти. Что он может помнить о той войне, что знать? Торжество смерти, праздник мертвеца – вот что это была за война! Век только начинался, а все идеалы уже были разрушены. Что ему рассказывать, если он никогда не сможет понять, что над целым континентом висел трупный запах...

Все еще молча разглядывая Перепелицу, я вспоминаю теперь, милая, как поезд буквально сбежал с вокзала, на котором все ярче и яростнее раздувался духовой оркестр. Люди заходились в смертельном экстазе, однако стоило составу покинуть город, как тотчас наступила страшная тишина. Безумное счастье вмиг выветрилось. Беззвучие вагона потрясло меня. Казалось, я не слышу даже стука колес. Все вокруг молчали. Никто больше не шутил, не смеялся и не пел гимнов. Тишина была такая, что ее можно было потрогать руками. Лишь единожды, в день, когда в 1920 году мы покидали Крым, после последней перед исходом молитвы (уверен, ты ее помнишь), я услышал подобное безмолвие. Скорбь, которую не нарушал ни плач ребенка, ни лай собаки, ни карканье воронья. Так неужели и правда думает этот Перепелица, что сейчас я стану рассказывать, как смотрел в тот день на юных однополчан и осознавал вдруг, что ника-

ких оркестров в моей жизни больше не будет?

– Нестеренко, ты что, уснул? Последний раз тебе говорю, показывай мне о войне!

– Так а что тут показывать-то? Будто вы и сами не знаете, до чего же скотская она была...

– Без обобщений! Рассказывай мне о своем участии!

– О моем? А что тут скажешь... такое же, как и у всех, у меня было участие...

Уже в первые дни бойня эта меня натурально ошарашила. Думаю, что в действительности это было мое первое настоящее потрясение, гражданин начальник. Ни к чему подобному я, конечно, совершенно был не готов. Я думал, что война эта будет такая же красивая, как на картинках, как в книгах, как нам рассказывали в училище, но едва боевые действия начались – фронт тотчас превратился в проходной двор. Текучка кадров оказалась колоссальной! Приехал – погиб, приехал – погиб, погиб, погиб, погиб, погиб...

Война – первый великий музей, который я посещаю в своей жизни. Музей анатомии. Обширнейшая, богатейшая коллекция, что обновляется каждый день. Миллионы экспонатов! Разрубленные вдоль и поперек тела, вскрытые и разорванные легкие, торчащие кости и разбросанные кишки. Руки, головы, ступни и черепа. Меня особенно впечатляют зрачки, по которым ползают мухи...

– В те дни, гражданин начальник, мне казалось, что солдатам всех держав проще было бы лечь в братские могилы

уже в своих собственных городах. Вот проснулся ты утром, вышел в огород, могилу выкопал и слег. Да краше бы даже с братом. Поступай мы так – это избавило бы всех нас от бесконечных переходов, ночей в мокрых окопах и компаний бесчисленных крыс. Знаете, гражданин начальник, Николай Федоров как-то написал, что бессмертие возможно только в том случае, если воскресить мертвых. Как это сделать, мы тогда, конечно, не понимали, но трупов для будущего великого воскрешения заготавливали с лихвой...

– Кто такой Николай Федоров?

– А, забудьте, гражданин начальник, это уж точно к нашему делу не имеет никакого отношения...

– Не тебе, Нестеренко, решать, что имеет отношение к твоему делу, а что нет!

– Да уж, конечно, не мне, я понимаю. В общем, я могу с уверенностью сказать только, что война эта разрушила мой привычный мир, все мое нехитрое понимание вещей. Вмиг буквально мир мой разлетелся на куски! Бах! Бах! Бах!

– Нестеренко, потише, ты не в театре!

– Да-да, простите...

– И не нужно мне тут делать таких длинных пауз!

– Ну вы же просто сами сказали мне, что записываете...

– Ты не волнуйся, все, что необходимо, я запишу!

– Тоже верно. В общем, подытоживая, можно сказать, что уже в первые дни закрылись все мои фабрики скорби и обанкротились мануфактуры горя...

– Нестеренко, я же тебя предупреждал: ты не Маяковский
– не нужно мне здесь поэзии!

– У вас там клякса...

– Нестеренко!

– Да не поэзия это никакая, а чистая проза – проза жизни, точнее и не описать! Со мной случилась вдруг такая колоссальнейшая минимализация чувств, понимаете, гражданин начальник? Я вдруг осознал, что уже в первые дни, попусту совершенно, вхолостую буквально растратил и грусть, и печаль, и сострадание...

– К чему ты ведешь?

– Я веду к тому, гражданин начальник, что был немного не таким человеком, как сейчас...

– Нестеренко!

– Раз уж вы меня спросили – я веду к тому, что там, на войне, уже в первые дни что-то во мне навсегда изменилось, что-то вдруг закончилось, и в связи с этим, когда все мои склады сопереживаний опустели, я перестал оплакивать однопольчан и начал смеяться...

– В смысле?

– В прямом! Я помню, что уже в один из первых боев, скованный ужасом, потеряв рассудок от страха, я стоял и ржал во все горло. Нет, правда, я ржал как жеребец! Не человек, но памятник безумию! В ушах звенело, а я не слышал ни приказов, ни свиста пуль, ни даже разрывов снарядов! Я стоял только на месте и смеялся во весь кадык!

– Почему?

– Да потому что все это было ужасающе смешно! Безумие, форменное безумие! Уходя на фронт, я обещал отцу и Вере, что буду бесстрашным, а тут такое бессмысленное веселье...

– Что еще за Вера?

– Да неважно теперь...

– Может, мне повторить вопрос?

– Да правда неважно! Девчонка, которая меня провожала. Мы с ней жили в одном селе, всегда держались друг друга. С самого детства рука об руку ходили. Я ей мужем обещал быть, а она мне женой. Очень, кажется, тогда любили друг друга. Много лет письма друг другу писали, она в Одессу ко мне приезжала, я возвращался в село. Я ей обещал стать генералом, а она мне – самой известной в России актрисой. Мы всегда почему-то были уверены, что очень важная у нас будет семья, что я, весь в орденах, буду приходить в театр, чтобы наблюдать за ее блистательной игрой. Вера так хотела стать актрисой... Я так хотел ей помочь... Я знал, что из меня ничего особенно не выйдет, ведь быть солдатом, если честно, я никогда не хотел, а она... Она так хотела на сцену, так стремилась к этому всю жизнь, что мне очень хотелось ее поддержать!

– Нестеренко...

– Затем, когда прощались, считай, взрослые уже, пальцы мои вот эти целовала, каждый ноготок, подушечку каждую, щеки, веки, как из пулемета строчила по мне любовую, граж-

начальник, да все обещала, что будет ждать...

– И что же? Не дождалась?

– Да длинная история...

Нового вопроса о тебе следователь почему-то не задает. Перепелица вдруг сам берет паузу и замолкает. Дознаватель скалится и внимательно смотрит на меня. Хотя, подобно Ноеву ковчегу, саратовский «титаник» набит самыми диковинными тварями, думаю, он признается себе, что среди прочих перед ним сидит редкий экспонат. Да, пускай я не такой исключительный, как, например, мой сокамерник Вавилов, и да, возможно, не столь запутанный, как похититель генерала Кутепова Яков Серебрянский (дело которого Перепелица тоже вел), и все же со мной товарищу следователю придется повозиться. Впрочем, Перепелица прекрасно понимает, что и как ему нужно делать:

Допрос – процессуальное средство получения и проверки доказательств. Действенное средство воспитательного воздействия на допрашиваемого. По своему характеру, допрос – действие многоплановое и сложное. Оно имеет процессуальный, криминалистический, организационный, психологический и этический аспекты. Сложность допроса заключается в кажущейся его простоте. Квалифицированное производство допроса требует не только знания закона и творческого его применения, но и житейского опыта, умения интерпретировать и варьировать различные меры

воздействия на личность с учетом индивидуально-возрастных ее особенностей.

Допрос – это искусство, требующее высокого мастерства и способностей.

*Всесоюзный институт по изучению причин
и разработке мер предупреждения преступности
Прокуратуры Союза ССР*

– А ты веришь в бога, Нестеренко?

– Арапа толкаете?

– В бога ты веруешь, спрашиваю?!

– Я?

– Нестеренко, здесь больше никого нет!

– Так, значит, и бога нет, коли никого нет.

– Нестеренко!

– Ну и вопросыки у вас сегодня, гражданин начальник!

Уж не заболели ли вы? Или, может, я чего не знаю? Немцы уже в Саратове? Возводят кирхи? Вот, наверное, к любому вашему вопросу я был готов, да уж только не к этому. Кому потом буду рассказывать, что в ноябре 41-го следователь Перепелица заговорил со мной о боге, так уж точно никто и ни за что в такое не поверит! Скажут – не бывает подобного в природе, Петя!

– Тебе никому не придется об этом рассказывать – не беспокойся!

Тоже верно. Коли расстреляют, то и не придется, только я ведь не умру! В этом смысле на мой счет следователь Пе-

репелица ошибается. Сидит, лыбится, думает об утре, когда подойдет и отправит расстрельный списочек в любимую Москву. Там его кто-нибудь важный подмахнет, конвертик вернется – и поведут меня подземным этажом в специально оборудованную камеру, где все так заделано, что ни человек, ни правда, ни даже звук оттуда сбежать не могут. Не потому ли сидит теперь такой довольный, что уже знает, знает наверняка, гнида, что пулю пустят в меня?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.